

Александр Бараш

СВОЕ ВРЕМЯ



Новое
Литературное
Обозрение

Александр Бараш

Свое время

«НЛО»

2014

Бараш А.

Свое время / А. Бараш — «НЛО», 2014

Новая книга известного поэта, прозаика, эссеиста Александра Бараша (р. 1960, Москва) – продолжение автобиографического романа «Счастливое детство» (НЛО, 2006). «Свое время»: Москва, 1980-е годы, стихи, литературный андерграунд, путешествие по этапам отношений с советской цивилизацией. Это свидетельство очевидца и активного участника независимой культурной жизни Москвы той эпохи – поэта, издателя ведущего московского самиздатского литературного альманаха «Эпсилон-салон» (совм. с Н. Байтовым, 1985–1989), куратора группы «Эпсилон» в клубе «Поэзия», а также одного из создателей и автора текстов рок-группы «Мегаполис». Переплетение мемуарной прозы, критических эссе, стихотворений создает особый стилистический сплав, призванный восстановить «портрет поколения в юности» и передать атмосферу любимого города в переломное время.

© Бараш А., 2014

© НЛО, 2014

Содержание

Город	6
Утренники в ЦДЛ	11
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Александр Бараш

Свое время

© Бараш А., 2014

© ООО «Новое литературное обозрение», 2014

Город

Когда я в последний раз, в один из приездов в Москву, шел по елисейским Октябрьским полям своего детства, то, уткнувшись, под мелким дождем и с головокружением, в бордовые торцы пятиэтажек со стороны улицы Бирюзова, не увидел на должном месте памятной вешки: голубятни у спортивной площадки... – и на меня слетела неизбежная, как Гимн Советского Союза, цитата «твой фасад темно-синий я впотьмах не найду...» Кружила в голове, будто стоя над голубятней в низком сизом небе, и щекотала пыльным, в пухе, пером горло, пока ее не перебила мысль: а почему, собственно, «приду умирать» на Васильевский ли остров, на Октябрьские ль поля? Ты уже здесь умер – когда отсюда уехал. Родной город – это одно из наших тел, «полей»: мозг – комната – дом – город – советская интеллигенция. Покидая их – переселяешь душу в иное тело. Переселения – репетиции физической смерти... Тут я и вышел к своему дому.

Ойкумена жизни на Волоколамском проезде имеет, как оказалось при первом же восминательном прощупывании (словно языком – по всей полости рта), довольно четкие границы.

Само слово ойкумена для меня отсюда же: из книги, прочитанной за столом у окна слева от среднего подъезда дома номер семь корпус три кв. 16 (координаты: 55°48#08.9##с. ш. 37°29#27.2## в. д., как рассказывает, чуть раскроешь Википедию, Гугл Мэпс, новый жюль-верновский персонаж, маниакально любознательный геодезист и фотограф, неудержимо энергичный американец). Книга *так и называлась*: «На краю ойкумены». Это было фэнтези 1949-го советского года, написанное Иваном Ефремовым – известным палеонтологом, любителем дальних странствий, Гумилева и научно-фантастических идей. Правильно-увесистый том про офигительные приключения греческого юноши-скульптора в древнем Средиземноморье. До сих пор первая ассоциация при слове ойкумена – гипнотическое звуко сочетание «на краю ойкумены»: светящееся, как волшебный кристалл детского воображения, заигравшего благодаря вдохновенному роману старого профессора-палеонтолога... даром что литературного дара там было чуть выше ватерлинии журнала «Вокруг света»: *«Девушка услышала шумный вздох своего спутника, увидела его затуманенный воспоминанием взгляд. – Таким бывает море на юге в ясную погоду, в полдневные часы, – медленно сказал молодой моряк»*.

С одной стороны ойкумены Волоколамского проезда была окружная железная дорога – как бы широкая пустынная река и мазутный ветер путешествий, приносивший на крапивные берега у доков-гаражей волшебные камешки шарикоподшипников. Мы жили явно в заречье, поскольку метро было тогда только на Соколе, и все автобусы шли оттуда, из-за моста, из «верхнего города»... На нашем берегу, отделяя улицу от «реки», тянулся на целую автобусную остановку «телевизорный завод» (народное название, официальное – радиозавод; там сейчас вроде бы базируется Лаборатория Касперского, доброго доктора Гаспара, прогоняющего злых вирусов).

«Наша» автобусная остановка была между торцом завода и парикмахерской. Главное впечатление от парикмахерской – «Моральный кодекс строителя коммунизма» в рамке на стене в зальчике ожидания. Ждать приходилось дольше, чем занимала солдатско-зековская стрижка «полубокс», главная, да, кажется, и единственная из модного реестра тех лет, если не считать полного «бокса», совсем уже налысо. В процессе ожидания холодного прикосновения маленькой пасти парикмахерской «машинки» к теплему темечку я перечитывал Десять Заповедей для чайников, погружался в черную точку морального кодекса строителя пирамид коммунизма. Результат был не совсем медитативный, скорее прострация по типу одубения. *«Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к стра-*

нам социализма... Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов... Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку – друг, товарищ и брат. Непримируемость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству. Нетерпимость к врагам коммунизма...» Понять, что не так, я не мог, но ощущал какой-то ментальный астигматизм ситуации, безумное смещение контекстов, особенно фатальное ввиду тихой бытовой обыденности – как бы природной естественности. Парикмахерская не самое адекватное место для нетерпимости к врагам коммунизма, если не считать, что целью было дезориентация, одурманивание абсурдностью.

Другая граница ойкумены шла вдоль парка и ограды 52-й больницы. Парк начинался у дальнего конца светлой панельно-стеклянной стены телевизионного завода. По его березовой аллее я впервые полетел во сне, лет в семь. Мне приснилось, что за мной погналась большая собака, типа «московской сторожевой». Я побежал от нее, но она догоняла, силы кончались, она хрипела все ближе, и спасения не было. Но тут у меня в руке оказалась какая-то бумажка, я приложил ее к попе – и полетел. Летел невысоко и с трудом, собака пыталась допрыгнуть до моих ляжек, и это ей почти удавалось, но я уже перешел в иное – безопасное – измерение... Получается, что полеты во сне для меня начались с ужаса, в попытке спастись... с сильным оттенком неловкости, интимности... и иррационального чуда.

Где-то дальше за парком начинались переулки у Покровского-Стрешнева, бывших дачных мест, где Карамзин писал «Историю Государства Российского», куда Лев Толстой приезжал к своей невесте, а в лучшие системообразующие годы нашего, советского, мира был лагерь эков, строивших канал «Москва – Волга». Вместить это, наследовать цивилизационному интеллектуальному усилию, человеческому шепоту-легкому-дыханию и одновременно ГУЛАГу – и жить с этим без катастрофических последствий для личного мозга и коллективного сознания – возможно ли? Вот наша задача...

52-я больница, продолжение границ ойкумены – место, где умер прадед, в середине шестидесятых годов, а потом его дочь, бабушка с материнской стороны, Бабушка Зина. Белые корпуса среди березок за бетонным забором, их транзитная станция в сторону кладбища. Эти «корпуса» – словно смутная, со смещением масштабов, визуальная репетиция надгробных плит.

Здесь же я лежал и умирал в отдельном боксе в семнадцать лет, заболев неведомой болезнью – пока не выяснилось, что это корь. Несколько дней была температура сорок, шла кровь из носа, без остановки (на что врач, хмыкнув, сказал, глядя в заполняющийся тазик: «Знаешь, сколько у тебя крови? Вся не вытечет, только полезно»). Никаких специальных симптомов не было, никто не знал, что делать, – и ничего не делалось, кроме изоляции в отдельной палате и недопущения родных.

Палата была на высоком первом этаже, окно открыто. Я лежал в полубреду, почти не в силах двигаться и говорить, лицом к двери, окно было в паре метров за головой. Как-то там, за окном, раздался голос мамы, зовущий меня, и я услышал скрежет ногтей по жестяному подоконнику. Она пыталась забраться, но соскальзывала, не могла зацепиться. Один из звездных моментов ее любви ко мне, знавшей и плохие дни.

День на четвертый-пятый пришел старенький доктор – вполне в духе сюжетов советской литературы и кино, по-моему, он даже был с бородкой клинышком – и сказал, что это корь. На следующий день диагноз подтвердился симптомами – сыпью... Одно из последствий – я узнал, как реагирую на приближение смерти. Еще через несколько лет прочитал у какого-то западного средневекового историка описание, как воины разных народов и религий встречают смерть, и увидел, что встречаю – по-русски. Я тогда писал цикл стихов о Смутном времени, который остался в черновиках: что-то было «не то», ложно в общей

постановке, диспозиции обращения к такой теме... Может быть, это есть и в стихотворении – вариациях на тему встречи со смертью «по мотивам» средневековой хроники:

*Татарин, срубленный с коня,
слепой в крови, как крот,
языческую честь храня,
зубами сталь грызет.*

*И жадно молит янычар,
выкатывая глаз,
у полумесяца меча
пощады в этот час.*

*А я лежу в предсмертной мгле
на гаснущей земле,
и ангел в ясной тишине
ладонью светит мне –*

Это все были северо-западные края ойкумены. С юго-востока лежал пустырь. Там одной зимой жил беспризорный пес, с которым мы друг другу симпатизировали. (Такая история есть в детстве, вероятно, чуть ли не у каждого, как замученный на даче ежик или покупка гуппи на Птичьем рынке. Вчера двенадцатилетний сын рассказал мне, что по дороге на автобус в школу – на улице Рут в Иерусалиме – у ворот одного из домов его встречает черный кот и провожает метров сто до угла большой улицы, тут кот поворачивает обратно, возвращается в свой сад... – *Вы разговариваете? – Да. Немного...*)

Вылетая из каре пятиэтажек на открытое пространство пустыря по ледяной дорожке (почему-то именно в этом месте была одна особенно длинная «взлетная полоса»), я приносил своему приبلудному другу несколько косточек. Потом он куда-то пропал с пустыря наших встреч, но эмпатическая нота этой случайной связи – вот, осталась, то ли «собачий вальс», то ли щекочущий слизистую оболочку шлягер из «Генералов песчаных карьеров».

От пустыря на восток уходила большая улица, носящая имя маршала бронетанковых сил Рыбалко. (Как я сейчас выяснил, в честь грозного маршала с мирной украинской фамилией назван, среди прочего, и теплоход, совершающий круизы по Днепру. Прогулочный лайнер «Рыбалко» – это было бы и само по себе красиво, даже без чинов... Хотя компания теплоходов для досуга, как сообщает интернет-страничка, посвященная лайнеру (<http://www.cruise.liko.ru/ribalko.htm>), там собралась высокопоставленная, как в лучшем закрытом санатории Минобороны: «В навигацию круизы совершают 4 теплохода: “Маршал Рыбалко”, “Маршал Кошевой”, “Генерал Ватутин” и “Принцесса Днепра”».)

На улице Рыбалко был книжный магазин, то есть обычный брежневских лет симулякр, аналог продуктовых: консервы – школьная классика, макароны – специальная учебная литература. Но в глубине и вбок, в дальнем ответвлении, было дупло живое место, даже в своем роде чудесное... по крайней мере в последние дни августа.

Мы только что вернулись с дачи, где в похолодевшем воздухе под посеревшим небом слышнее перестук поездов на железной дороге, будто тиканье часов в опустевшей квартире. Под насыпью, во рву некошенном звенит, тренькает по битым бутылкам и шлепает по использованным презервативам дождик... Конец сезона танцплощадок: сладко-порочное, как портвейн с халвой, уханье местного ВИА со стороны заката над лесом за станцией Поварово, «She's got it...»

Возвращение в Москву – новые старые запахи, предвкушение отчего-то новой жизни – на класс старше в школе: как изменились одноклассники? может быть, что-то случится – *отношения*: дружбы, влюбленности? Постричься, *погладить галстук* (это устойчивое выражение типа «с петлей на шее»; речь идет о пионерском галстуке, носившемся лет до четырнадцати, обязательный атрибут, без него советский школьник немыслим, как корова без колокольчика)...

И – радостное, будоражащее преддверие за мгновение до праздника каких-то счастливых событий: поход за новыми тетрадками, ручками и ластиками в «книжный».

На дальних восточных границах ойкумена омывалась широким серым потоком улицы Народного ополчения. На том берегу стоял замок с обширными угодьями и за высокой стеной, называвшийся окрестными жителями Школой КГБ. На современных картах – Военно-дипломатическая Академия Генштаба... не без армейской дипломатичности, «никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу»... Этот комплекс зданий был виден с моста через железную дорогу, особенно хорошо – из проезжавшего автобуса. Все было имперски-внушительно, «с иголочки»: и несколько зданий среди широких аллей и подстриженных под полубокс газонов, и шеренги елочек, проходящих бессрочную строевую подготовку, и круглые, как глаза честно ждущих невест, клумбы бархоток... Никогда, ни разу не удалось заметить там человека или машину, вообще какое-либо движение. Это явно было пространство иного измерения – то ли из-за сакральности, то ли по долгу службы.

Дорога в школу состояла из двух автобусов с пересадкой. На «пересадке», у остановки автобуса, за оградой – на фронте двухэтажного дома (поликлиника?) были часы со стрелками, застывшими на мою вечность – на апокалиптическом раскладе «25 минут девятого». Правда, в кармане школьных брюк (еще мышинного цвета, синие появились в восьмом классе, в 1974 году...) звенит и утишает тревогу добыча с предыдущего автобуса. Он пустел за остановку перед конечной (и пересадкой) – и можно было пройти от передней двери до задней, заглядывая под сиденья, как бы между прочим – а на самом деле в азарте «Острова сокровищ», – и отыскать в катящейся по улице огромной консервной банке-копилке несколько монеток – в масштабах от газировки и чуть ли не до крем-брюле. Главное, конечно, азарт (что-то среднее между собиранием земляники в лесу и игрой в разведчиков), но не менее важно было *наскребывание* – самостоятельно! – некоей суммы, могущей иметь реальное вкусовое воплощение... Наше финансовое положение было среднестатистическим – и не давало поводов для особой разнузданности. Как в рассказе одной знакомой, которой мама выделяла в школу 20 копеек и имела привычку приговаривать при этом: «Ни в чем себе не отказывай».

Первое воспоминание об автобусе – времени первых полетов человека в космос, начало шестидесятых: рано утром мама, «молодая специалистка», по дороге на завод завозила меня в ясли где-то в районе Лубянки. Первые картинки, возникающие в голове (своего рода линки памяти) – на уровне роста ребенка четырех-пяти лет: бока и животы темных пальто и плащей... слякоть под топчущимися ногами (и, кажется, еще много галош)... слякоть гораздо ближе и звучнее, чем с высоты других возрастов...

Странно, но метро не вызывает такого же острого ощущения неуютности коммунальности, как автобус, – хотя общие качества общественного транспорта те же. Включая и главное – насильственное сокращение естественной дистанции с другими людьми, вламывание в – и разламывание – твоего индивидуального поля, оно «шире» физического тела, скажем, на метр... не меньше... Скорее всего во время формирования дорефлективных еще стереотипов, в достаточно раннем возрасте, на отношение к автобусу повлияло (дополнительно наложилось) то, что он воспринимался как часть более глобального казенного мира: дорога в ясли, в школу... А метро в дошкольном детстве – это либо дорога к бабушке-с-дедушкой (всегда – событие, путешествие... с ласковым пунктом назначения... во всяком случае, нечто

оттянутое, нефункциональное...), либо – в сторону дачи (это уже просто затяжной прыжок в свободу, ураган и Алиса-в-Стране-Чудес).

Но неизменен, навсегда впечатан в голову магический ритм, интонация, музыкальная фраза – надписи на стене автобуса:

*отсутствие мелкой разменной монеты
не является оправданием
безбилетного проезда.*

Ранняя юность прошла неподалеку, на северном краю Октябрьских Ходынских полей: мы переехали на Сокол – в квартиру над надвратной аркой Песчаной улицы.

В правой ноге центральной арки, над проезжавшими машинами, была комната родителей, и сбоку «детская». Окна смотрели на Песчаную улицу и дальше, в перспективу, казавшуюся томительно-волшебной. За коричневыми железными крышами сияли отраженным светом вечерней зари чьи-то окна. Это горнее мерцание исходило от верхних этажей одного из домов на улице Алабяна, где внизу был магазин «Березка», тоже, впрочем, сказочный – по недоступности.

Окно третьей комнаты, где жили бабушка и дедушка, смотрело во двор, где паслись «Москвичи» и «Запорожцы», похлебывая бамперами бензиновую радугу из луж.

Со двора шла еще одна – «черная» – лестница, крутая, с высокими ступеньками, почти винтовая... Кажется, сейчас я осознал подспудную ноту ассоциации, которая несколько раз возникала в путешествиях, – у окон в средневековых надвратных башнях где-то в Англии или Италии, как-то раз довольно сильно в Кентерберри: в исторической тюремной камере на верхнем ярусе башни над въездом в средневековый город... «Вот я и дома...»

Утренники в ЦДЛ

*Здесь нет ни одной персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.*

В. Высоцкий. Братские могилы

Когда я был школьником, мы ходили вдвоем с мамой на поэтические «утренники» в Центральном доме литератора.

Так началось мое знакомство с «литературным миром». Я всегда, лет с семи – восьми, с первых фантазмов о будущем и с первых попыток стихов и прозы, думал только о литературе как *предмете* своей жизни, как о том, с чем она связана больше всего... но лет до 15-ти, до первых друзей, пишущих стихи и читавших те же книги, не встречал людей «своей антропологии», не видел вживую *литературных* людей.

В домашнем салоне родителей было много бардов, экстрасенсы и тибетские врачи, но писателей не было. Видимо, они были где-то дальше – выше по социокультурной шкале, хотя, казалось бы, граница между бардами и поэтами была в 60–70-е почти прозрачной... Тем не менее получалось, что писатели были для итээровской среды где-то там же, где «серьезные», «классические» композиторы, в отличие от *демократичных* бардов-и-менестрелей. Хотя был один литератор... автор известной детской книжки «Баранкин, будь человеком» Валерий Медведев. Бывший актер, пожилой, с бородавками на сером лице, он появлялся в доме в качестве одного из представителей разношерстного отряда маминых поклонников, сидел на родительской тахте немного боком и профессионально, по-актерски, исполнял Вертинского. Познавательности и поучительности в нем было не больше, чем в нашем старом коте.

Выйти из метро на «Баррикадной», подняться по улице мимо сталинской высотки, перейти Садовое кольцо у места его впадения в Площадь Восстания, слева Замок Дракулы – особняк Берии... и по узкому тротуару – к колоннам Дворца Снежной Королевы, то бишь советской литературы, где из осколков разбитого зеркала русской революции, отражающего действительность, данную нам в ощущении отороженности, бывшие мальчишки Каи, украденные у своих ненаписанных настоящих книг, пытаются сложить слово «соцреализм»...

«Утренники» в ЦДЛ – это были коллективные чтения по выходным дням. Попадались и известные имена. Сами по себе стихи не были главным. По жанру это оказывалось, скорее, чем-то вроде публичного официального застолья с регламентированными выступлениями, где важно «отметиться»; в качестве угощения – сцена, микрофон и большой зал. Особенно яркая эстрадность выглядела бы «выпендрежем» за счет остальных участников, как и яркие тексты. Исключения могли быть для пожилых и заслуженных или для юных дарований. И то – до известной степени. Приемлем был артистизм с репризами, в духе телевизионного Ираклия Андроникова, или девичья порывистость.

Артистичен был Павел Антокольский: очень живой глубокий старец с огромными черными кругами вокруг глаз, как будто он разыгрывал Носферату, ожившего персонажа времен своей молодости¹, – Антокольский был режиссером Вахтанговской студии в двадцатых годах. С одной стороны, это выглядело увлекательно, как любая живость и коммуникативность, и в нем была профессиональная театральная харизма. С другой – пританцовывающий

¹ Носферату. Симфония ужаса, 1922. <https://archive.org/details/Nosferatu1922>

старик-юноша, ажитация, воспаленность желания «обаять». Все же это было легендарное имя: юноша Павлик из «Повести о Сонечке» Цветаевой. «Ручной» Носферату...

Студентка Литературного института Олеся Николаева, с ангиной и в шарфе, с «задыхающейся» любовной лирикой, светилась девичьей порывистостью: «...*всей багровой щемящей тоской...*», «...*вспоминается мне, ну такая нелепость, такая, / – та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та... – изба...*» Было неловко и/но трогательно. Впоследствии «цветение пола», по известному выражению Мандельштама, закончилось, а с ним и какая-то живость... осталась номенклатурность, постсоветская, довольно пародийная, поскольку постсоветская культура и номенклатура пересекаются даже меньше, чем советские.

На одном из этих утренников в ЦДЛ выступал Давид Самойлов. Мероприятие вел Гарольд Регистан, *тот самый? нет, сын* – соавтора Сергея Михалкова по гимну СССР. Вполне в жанре «поэтического застолья», эталонного для этих мероприятий, Регистан, армянин из Ташкента, отрабатывал роль дежурного тамады. И, представляя Давида Самойлова, ласковой скороговорочкой, напоминавшей шакала из мультика про Маугли, сообщил: «А сейчас... автор множества книг... десяти... двадцати...» И обращаясь к уже идущему ко второму микрофону Самойлову: «Сколько точно их у вас, дорогой Давид Самуилович?» Тот уже подошел к микрофону и раздраженно отрезал: «Четыре». Почему-то наибольшее впечатление на меня – школьника из всего выступления Самойлова произвел этот проискривший заряд напряжения, сценка в духе советских бытовых кинокомедий, «Берегись автомобиля» или «Бриллиантовая рука» («Кто купил билетов пачку, тот получит...»)... – и тут Мордюкова как рывкнет: «Водокачку!»).

Я любил несколько его стихотворений. Больше других – «Из детства»:

*Я – маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег.
И папа поет мне: «Как ныне
Собирается вещей Олег...»*

*Я слушаю песню и плачу,
Рыданье в подушке души,
И слезы постыдные прячу,
И дальше, и дальше прошу.*

*Осеннею мухой квартира
Дремотно жужжит за стеной.
И плачу над бренностью мира
Я, маленький, глупый, больной.*

Точная картина русского детства, и психологически, и по антуражу. – Соотношение уюта и тревоги, тепла и холода, от просто мороза до вселенского холода... похоже на то, что в «Белой гвардии» Булгакова.

Только отчего слезы так уж постыдны и почему «глупый» в одном ряду с «маленьким» и «больным»? Все непросто... «амбивалентно». Аутентичное самонаблюдение над собой и историей. Острое, сладко-болезненное слияние ощущения своей бренности и бренности мира. Элементы мазохизма и солипсизма... и беспрецедентные исторические потрясения вокруг. Боль и своего рода гедонизм. Странное сочетание, сильные ощущения.

Запомнилось не то, что Самойлов читал в ЦДЛ тогда, в середине семидесятых, а – что он не читал. Отсутствие было значимо и воспринималось однозначно. Правила игры, коды «эзопова языка», касавшиеся не только текстов, но и литературных жестов в публичном про-

странстве, расшифровывались адресатами в интеллигентском сообществе с легкостью, без зазора с авторской *задумкой*. За чтение стихов могли посадить и сажали – если это было несанкционированное выступление в публичном месте. За не-чтение никаких репрессий не причиталось. Но оттенок диссидентства, как горчинка в правильно смешанном коктейле, все же возникал.

Не читал Давид Самойлов своей «визитной карточки» из советских школьных хрестоматий: «Сороковые, роковые». Не «Коммунисты, вперед» Межирова, конечно, но из этого контекста: разрешенные, санкционированные стихи о войне.

Там, в «Сороковых, роковых...» – то же, что в «Я – маленький, горло в ангине...»²: сближение частного и всеобщего, исторического. *«Как это было! Как совпало – / Война, беда, мечта и юность!»* «Наложение» и слипание зон интимного, человеческого, сентиментального – и эпического, безжалостного, жуткого. *«Гудят накатанные рельсы. / Просторно. Холодно. Высоко. / И погорельцы, погорельцы / Кочуют с запада к востоку...»* Через запятую – ощущение «высокости» и миллионы погибших. Тут же и веселость, и задорность: *«Да, это я на белом свете, / Худой, веселый и задорный. / И у меня табак в кисете, / И у меня мундштук наборный»*... Да, известно, скажем, что в конце тридцатых годов, на пике арестов и расстрелов, был пик увлечения дачностью, эскапистской гедонистичностью. *«И это все в меня запало / И лишь потом во мне очнулось!..»*

На школьной перемене в середине семидесятых, слоняясь по рекреации у кабинета литературы в своей 201-й школе имени Зои и Александра Космодемьянских (они учились там в *свое время*), я оказывался перед занимавшей все стены выставкой военной поэзии, в лабиринте по-зимнему тусклых стекол... Оттуда смотрели, как из застекленного открытого некрополя, военные фото. И по многу раз перечитывал, рефлекторно шевеля губами, почти в гипнозе, словно последователь некоего культа, эти стихи. И оттуда же: *«Война – совсем не фейерверк, а просто – трудная работа...»* Кульчицкого, *«И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую...»* Гудзенко.

В этих стихах советских мальчиков, родившихся во время Гражданской войны и закончивших школу в районе 1937 года, звучала, как боевая флейта, одна нота: в бой во имя империи и за славой! Генезис вроде бы «киплинговский», а в русской поэзии был еще Гумилев, с культом мужественности, с маχοистскими обертонами и с личной храбростью во время Первой мировой войны. Гумилев был расстрелян: новая власть и он, и этот звук, были несовместимы. Ведь у него речь идет о свободном героическом выборе. *«А по-моему, ты говно»*³.

² Д. Самойлов «Стихи». <http://lib.ru/POEZIQ/SAMOJLOW/stihi2.txt>.

³ (Писатель стоит несколько минут, потрясенный этой новой идеей, и падает замертво. Его выносят.)»Д. Хармс «Четыре иллюстрации того, как новая идея огорашивает человека, к ней не подготовленного». 1933 г. http://www.klassika.ru/read.html?proza/harms/xarms_prose.txt&page=38. – А по-моему, ты говно! Читатель: – Я писатель! «Писатель:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.